

Дарья Воинова

Лёгкой перемены

Роман в голосах о любви
и милости непостоянства



Дарья Воинова
Лёгкой перемены

«Автор»

2026

Воинова Д.

Лёгкой перемены / Д. Воинова — «Автор», 2026

В мире Перемены никто не знает, кем проснётся завтра. Каждую ночь душа уходит из одного тела и утром входит в другое. Люди оставляют себе записки, держатся за имена, дома, лица и привычки — но всё равно каждый день начинается с неизвестности. Только одна история кажется сильнее этого закона: легенда об Айли и Ванраме, которые семь ночей не спали, чтобы не потерять друг друга. Город поёт о них песни, продаёт открытки, ставит спектакли и верит: настоящая любовь способна остановить утро. Но однажды в последней сцене звучит не та строка. И старая легенда начинает меняться. «Лёгкой перемены» — роман в голосах, рассказанный теми, кому на один день достаются чужие руки, чужая красота, чужая власть или чужая вина.

© Воинова Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Роман в голосах о любви и милости непостоянства	5
Мастер слова	6
Честная душа	8
Глаза важнее	17
После третьего колокола	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Лёгкой перемены

Роман в голосах о любви и милости непостоянства



Популярная городская открытка

Мастер слова

— Если ночь разлучит нас, кто скажет утру, что мы были?

— Я скажу. Пока мой голос помнит тебя. Пока рука ищет твою руку. Пока утро не забрало у меня твоё имя.

— А когда заберёт?

— Тогда, может быть, мир скажет за нас.

— Нет. Мир забывает слишком легко. Держи мою руку, любимая. Ещё одну ночь. Только одну.

Я отложил ручку и засмеялся: сцена была живая.

Сегодня я писатель. Мои руки — инструменты быстрого ума. Я вижу образы и доношу их до бумаги. Какая это радость — быть свободным настолько, чтобы видеть мир в Перемене и воспевать его.

Ещё час назад мой язык был груб и нетонок; я не смог бы написать даже записку на кухню, не то что прекрасный миф. Но сейчас я вспомнил. Я принял Перемену.

Я прочёл лист, и тот, кто его оставил, владел языком во всей искусности и высоте поэтического слова. А я в утренней глупости даже не смог оценить его красоты. В моём туманном сознании стали вспыхивать образы и фантазии, а следом пришло желание облечь их в слова. Это были очень неумелые и простые слова, но тогда я этого не понимал. И только теперь в полной мере могу оценить милость провидения, подарившего мне этот день.

Сегодня я пишу новую сценическую версию великого мифа об Айли и Ванраме — для театра, который впервые решил поставить «Семь ночей» целиком. По старому театральному обычаю актеры должны были провести все семь ночей без сна. Считалось, что иначе это не любовь на краю Перемены, а удобная игра в неё.

Я не первый, кто берётся за него. Конечно, не первый. Я слышал его много раз и во многих изложениях. Да и есть ли в мире хоть один человек, кто не слышал о нём? На полке стояли старые свитки, тонкие книжечки с площадными песнями, учёные пересказы, детские издания с золотыми лунами на обложке и несколько потрёпанных театральных тетрадей: в них слова были размечены для дыхания, пауз, выхода к свету. Каждый рассказывал немного иначе. В одном Айли смеялась чаще. В другом Ванрам был почти свят. В третьем они были просто юными и испуганными, и от этого история становилась ещё прекраснее. Их история — чудо нашей жизни. Напоминание о любви и свободе.

Ни один из существующих рассказов не был полным. Миф вообще не терпит полноты. Он каждый раз просит нового голоса. И я пишу о нём особо: я воспеваю его, я восторгаюсь им.

Когда утром я вошёл в рабочий кабинет, солнце уже лежало на полу широкой полосой. Моя рука сразу потянулась к ящику с бумагой: она знала, где лежит ручка. Я с трепетом взял её в руки — старую, с треснувшим колпачком и стёртой от моих пальцев краской. Её любили до меня. И сегодня люблю я.

Теперь мне не нужны напоминания, не нужны записки. Я знаю, кто я. Чернила ложатся на бумагу, ещё влажные, блестящие в солнечном свете. Я смотрю, как они впитываются и становятся матовыми. Буква за буквой. Но это слово — пока ещё не то. Я зачёркиваю, пробую снова, произношу вслух нараспев, пробую его на вкус. И вот оно приходит — точное, единственное. По руке пробегает тепло. Это миф узнаёт себя в моих словах.

Я уже видел, как эти слова лягут в чужие голоса, в свет, в дыхание зала.

И история полилась, поплыла. Она течёт из меня, переливаясь искрами моей радости и данного мне сегодня таланта. Я счастлив.

Чай на краю стола давно остыл. Я несколько раз тянулся к чашке и каждый раз забывал, зачем поднял руку. На пальцах темнели чернила.

Однако у меня не так много времени.

Я отгоняю эту мысль. Не хочу об этом думать, ведь это бессмысленно. Никто не может остановить время. Оно тоже течёт, как моя история. Но пока я богач — у меня ещё целых девять часов. Я знаю, что проведу в этом кабинете весь день. Солнце скроется за горизонтом в последнем отблеске, станет темно. Но я только включу лампу и продолжу писать.

Ручка греется в моих пальцах. Она уже не чужая, она живая, она чуть поскрипывает, когда я вывожу новую строку. Эта строка останется. Останется после меня, после этого дня, после Перемены.

Тот, кто был здесь вчера, оказался лучше меня — с внезапным укором подумал я. Он хотя бы нашёл в себе силы дойти до спальни и оставить лист. Ведь сегодня утром я проснулся в кровати и нашёл лист на положенном месте. Но мысль отвлекла меня. А я не должен отвлекаться. Нужно спешить, нужно как можно больше успеть. Такие дни выпадают нечасто.

Я склоняюсь над столом и снова берусь за ручку.

К вечеру лампа уже горела, а за окном вместо дня стояла густая темнота. Я дошёл до сцены, где Айли и Ванрам впервые понимают, что ночь не отдаст им друг друга без борьбы.

Дальше начиналось самое трудное.

Я перечитал только что написанную страницу.

Она была красивой. В ней были ночь, страх, руки, которые не хотели расцепляться, и почти правильная печаль.

Я отложил страницу. Она не звучала. А миф должен звучать, иначе зачем ему жить?

Я долго держал ручку над строкой. Слово было близко, но не приходило. Не то чтобы я устал. Нет. Просто история, которую я писал, вдруг стала глубже моего сегодняшнего голоса.

Я мог бы написать как-нибудь. Красиво, ловко, почти верно. Но почти правильное в таком месте хуже пустого.

Тогда я взял чистый лист.

«Я дошёл до седьмой ночи. Не торопи их. Не делай их слишком великими — они были живыми. Не делай их слишком слабыми — они любили.

Если не найдёшь слов для Айли — оставь паузу.

Пауза иногда честнее строки.

Миф подождёт.

Лёгкой перемены, мастер слова.

Калем».

Я перечитал.

Потом положил ручку на место, встал, выключил лампу и медленно пошёл вверх — оставить лист там, где утром нашёл свой.

Честная душа

Записка была плохая.

Я понял это сразу, ещё до того, как дочитал до конца. Бывают записки заботливые — такие, наверное, в это же утро лежали на других подушках: «не забудь лекарство», «не спорь с тёткой в синем», «левое колено ноет перед дождём», «сыну шесть, он боится, когда ты не узнаёшь его утром». А эта была другой. Весёлой, наглой и до такой степени уверенной в себе, что мне захотелось немедленно поступить наоборот.

Она лежала на подушке, аккуратно сложенная.

Почерк был быстрый, рваный. Так пишут на бегу и со смехом.

«Не занудствуй. Это пройдёт к завтраку.

Синий пакет под третьей доской у печки. До полудня отнести в «Косой якорь». Серебряный зуб — наш человек. Скажи: «Петух спел дважды».

Женщине с зелёной лентой не верь. Она скажет правду, но не всю.

Деньги не бери. Возьми крендель у Лио.

Если захочется отнести пакет хранителям — отнеси, конечно. Посмеёмся.

Лёгкой перемены, честная душа.»

Я перечитал ещё раз.

Потом положил записку на колени и некоторое время смотрел на свои руки.

Руки были ловкие, узкие, с тёплыми пальцами. Под ногтями — чёрные полоски. Одна костяшка была сбита, но уже давно, без боли. Руки мне не понравились. Они казались слишком довольными собой.

Комната была маленькая, но не бедная. Просто временная. Вещи здесь не стояли на своих местах, а присели отдохнуть: сапоги у двери, жилет на спинке стула, кепка с погнутым козырьком на полу, две монеты под ножкой стола. Из окна тянуло тёплым запахом хлеба и утренней улицы. Где-то внизу звякали противни.

Я попытался вспомнить вчерашний день.

Мой. Не этот.

Вспомнилась только сухая лавка, чужой сад за окном и очень старая женщина, которой я вечером помогал пересчитывать пуговицы. Она всё повторяла, что пуговицы нельзя оставлять без пары: утром никто не поймёт, какая откуда. Я тогда с ней соглашался. Мне казалось, что это важно.

А теперь я сидел в комнате над пекарней, держал в руках мерзкую записку и должен был, если верить неизвестному нахалу, лезть под печку за синим пакетом.

— Нет, — сказал я вслух.

Голос оказался приятный. Чуть хриплый, но лёгкий. Такой голос хорошо подходил для того, чтобы обещать и не выполнять.

— Нет, — повторил я строже.

Внизу кто-то крикнул:

— Каспи! Если ты опять помер, предупреди заранее!

Я вздрогнул.

Значит, сегодня я Каспи. Или, по крайней мере, кто-то внизу считал, что меня так зовут.

Я встал, подошёл к умывальнику и посмотрел в мутное зеркало. На меня глянул молодой мужчина с быстрыми глазами, тёмными волосами и выражением лица человека, который уже заранее нашёл выход из любой неприятности и теперь только ждёт, когда все остальные догонят.

На шее был завязан жёлтый платок — небрежно, красиво и совершенно неподходяще к моему утреннему намерению стать порядочным человеком. Я попытался развязать его, но узел оказался хитрым. Пальцы поправили складку сами, чуть набок.

Лицо в зеркале сразу стало довольнее.

— Вот уж нет, — сказал я ему.

Он мне улыбнулся.

Это было неприятно.

Я умылся, оделся — слишком быстро, почти не думая, где что лежит, — и решил что буду делать. Сначала я найду пакет. Потом отнесу его не в какой-то «Косой якорь», а в Дом утренней помощи к хранителям. Там разберутся. Не для того мой сегодняшний день, чтобы таскать непонятные пакеты по трактирам.

Третья доска у печки поддалась сразу.

Под ней лежал небольшой синий бумажный пакет. Он был перевязан белой веревкой. На узле висела крохотная медная птичка.

Я взял его осторожно, как берут вещь, которой не доверяют.

Рука тут же ловко спрятала пакет за пазуху.

— Эй, — сказал я своей руке.

Рука никак не ответила.

Когда я спускался вниз, хозяйка пекарни уже ждала меня у печи: круглая, краснолицая, вся в муке, будто только что спорила с тестом и победила.

— Каспи, — сказала она. — Деньги.

— Доброе утро, — сказал я.

— Деньги, — повторила она.

Я хотел сказать, что ничего не знаю о долгах, но готов честно разобраться, как только...

— К вечеру, матушка Лио, — сказал мой рот легко и ласково. — И не просто деньги, а с благодарностью. Сегодня день удачный, я чувствую.

Хозяйка прищурилась.

— Ты каждый день чувствуешь.

— Но не каждый день так красиво.

Она фыркнула, но отступила.

— Крендель не дам.

— А я и не прошу.

Я вышел на улицу почти возмущённый. Слова выскочили сами. Не совсем сами, конечно, но быстро, удобно, без того усилия, с каким порядочный человек обычно выбирает между правдой и ложью. Здесь выбор словно уже был сделан заранее, а я только поставил подпись.

Улица была солнечная и шумная. Лавки раскрывались. Мальчишка нёс связку зелёных шаров. Старик возле колонки ругался с собственным башмаком. Две женщины у стены читали друг другу свои утренние листы и смеялись: видно, обеим достался сегодня хороший завтрак.

Одна всё время трогала свои косы и смеялась, что вчера, кажется, была лысым стариком, а сегодня Перемена решила извиниться.

— Не привыкай, — сказала вторая. — Она редко извиняется два утра подряд. Но сегодня — красиво.

Над дверью цирюльни висела дощечка: «Лёгкой перемены. Бритьё без вопросов».

Я пошёл налево, потому что Дом утренней помощи, если верить вывеске на углу, был именно там.

Тело хотело направо.

Я остановился.

— Нет, — сказал я ему уже без голоса, внутри.

Тело терпеливо подождало, пока я пройду ещё двадцать шагов налево. Потом показало мне очередь.

У Дома утренней помощи стояло человек тридцать. Кто-то плакал. Кто-то ругался. Один высокий мужчина в ночной рубахе уверял всех, что вчера он был капитаном, и требовал корабль. На двери висела табличка: «Сложные случаи — через левое крыло. Утерянные дети — без очереди. Спорные листы — после третьего колокола».

У самой стены стоял босой человек в слишком большом плаще. На груди у него болтался деревянный круг на верёвке — грубый и тёмный. Он раскачивался с пятки на носок и кричал то очереди, то двери:

— Лист не душа! Лист — костыль! Не целуй костыль!

Очередь нервно поглядывала на него, но делала вид, что не слышит.

— Не торгуй первым страхом! — крикнул он уже мне, хотя я, кажется, ещё ничего не продавал. — Он не твой, он только проснулся!

Я крепче прижал пакет за пазухой.

После третьего колокола.

Я посмотрел на солнце.

До полудня было не так много.

— Прекрасно, — сказал я. — Подождём.

И встал в конец очереди.

Минуты через две я понял, что ненавижу очереди. Не просто не люблю, а именно ненавижу — телом, кожей, пятками. Мне хотелось переминаясь, шутить, обгонять, договариваться, исчезнуть и появиться уже внутри. Очередь казалась оскорблением естественного порядка вещей.

Передо мной стоял человек в сером меховом жилете. На верёвке рядом с ним стояла мохнатая пятнистая коза и с сосредоточенным видом жевала край его рукава.

Он всё время перечитывал лист и шептал:

— Не продавать козу. Не продавать козу. Не продавать козу.

— Не продавайте, — сказал я.

Он обернулся.

— А если очень надо?

Я не нашёлся, что ответить.

В этот момент рядом со мной мягко произнесли:

— Каспи.

Я повернулся.

Женщина с зелёной лентой в волосах стояла у стены и смотрела на меня взглядом давней знакомой, которую я уже успел разочаровать, но не окончательно.

Она была не красавица, нет. Но в ней было что-то опасно приятное: спокойные глаза, тонкий рот, узкие перчатки, лёгкая насмешка в подбородке.

— Какой сегодня? — спросила она.

— Простите?

— Сегодняшний. Честный? Пугливый? Благородный? Утренние бывают разные.

Я невольно коснулся пакета за пазухой.

Она заметила.

— Значит, честный.

— Я как раз собирался отдать это хранителям.

— Конечно. Там тебя примут после третьего колокола, составят опись, положат пакет в ящик, и к вечеру ты уже не вспомнишь, почему это казалось важным.

Она говорила очень разумно.

И именно поэтому я ей не поверил.

— Что в пакете? — спросил я.

— То, что принадлежит мне.

— Почему же записка говорит вам не верить?

Она улыбнулась.

— Потому что Каспи умнее, чем кажется по его сапогам.

Я посмотрел на свои сапоги.

— Вы скажете правду, но не всю, — сказал я.

— А кто говорит всю? — спокойно спросила она. — Особенно утром.

Очередь сдвинулась на полшага. Мужчина с козой снова зашептал своё: «Не продавать козу». Где-то ударил первый колокол.

Женщина протянула руку.

— Отдай пакет, и можешь считать, что поступил прилично.

Я почти поверил ей.

Почти.

Но тело в этот миг сделало странную вещь: оно улыбнулось.

Не широко. Не нагло. Только чуть-чуть, одним уголком рта.

Женщина с зелёной лентой тоже узнала эту улыбку и тут же перестала тянуть руку.

— Ах ты утренний праведник, — сказала она. — Уже начинаешь просыпаться?

— Я пойду к хранителям.

— Конечно.

Но я пошёл направо.

Не сразу в «Косой якорь». Нет. Я ещё сопротивлялся. Я говорил себе, что просто хочу разобраться на месте. Что трактир — это не преступление. Что серебряный зуб, возможно, владелец пакета. Что иногда правильный поступок требует проверить все стороны.

Тело слушало меня с большим уважением и вело кратчайшей дорогой.

Мы прошли мимо торговых рядов, где продавали горячие лепёшки, печёные яблоки и ленты для вечерних записок. У фонтана зазывала хрипло кричал про последние билеты на «Семь ночей» — полную постановку, все семь вечеров подряд, “как было у них самих, без перерыва и без смены душ”. Рядом на верёвке висели открытки с Айли и Ванрамом. Я задержал взгляд на картинке всего на мгновение.

Айли и Ванрам стояли под звёздами, держась за руки. Он был нарисован слишком красивым, она — слишком печальной, и оба смотрели не друг на друга, а куда-то за край открытки, будто уже знали то, чего не знал художник. Над ними сияла круглая луна, а внизу золотыми буквами было выведено: «Семь ночей — одна любовь».

Картинка была дешёвая, почти смешная. Небо залито синей краской неровно, у Ванрама одна рука вышла длиннее другой. В словах “одна любовь” почему-то было что-то слишком тесное, как будто двоих заперли в одной комнате и назвали это счастьем. И всё же на секунду мне стало тихо. Так, как бывает утром, когда ещё помнишь себя и не хочешь сразу входить в чужой день.

Потом кто-то рядом засмеялся:

— Заверните две! Одну мне, другую — если завтра проснусь богаче!

Но меня уже потянуло дальше.

Возле рыбных лавок мальчишка попытался вытащить у меня из-за пазухи пакет.

Я поймал его за запястье раньше, чем понял, что делаю.

— Ой, — сказал мальчишка.

— Ой, — согласился я.

Он был рыжий, веснушчатый, быстрый и совершенно не раскаивался.

— Каспи, ты чего? — обиделся он. — Мы же друзья.

— Сегодня нет.

— А завтра?

— Посмотрим.

Он засмеялся, вывернулся и убежал, даже не очень стараясь. Я хотел возмутиться, но вместо этого поймал себя на том, что тоже улыбаюсь.

К «Косому якорю» я подошёл за десять минут до полудня.

Это был весёлый трактир с синими ставнями и вывеской, где якорь действительно был нарисован криво: художник, видно, в последний момент передумал насчёт моря. Внутри пахло жареным луком, тмином и чем-то сладким. У двери сидел старый пёс и смотрел на прохожих с выражением хозяина заведения.

За стойкой стоял человек с серебряным зубом.

Больше всего в нём был заметен именно зуб. Он улыбался так, чтобы никто его не пропустил.

— Петух спел дважды, — сказал я, чувствуя себя идиотом.

Серебряный зуб хлопнул ладонью по стойке.

— Дошёл. А я говорил, честный долго не продержится.

— Я пришёл выяснить, что в пакете.

— Великолепное начало всякого падения, — сказал Серебряный зуб. — Садись.

— Сначала скажите, что там.

Женщина с зелёной лентой вошла почти сразу за мной. Она закрыла дверь, оглядела трактир, увидела меня и улыбнулась с таким удовлетворением, словно я наконец перестал вести себя неприлично.

— Всё-таки направо, — сказала она.

Серебряный зуб протянул руку.

Я не отдал.

— Покажите.

Он посмотрел на Мирру. Та пожала плечом.

— Дай ему. Сегодняшний ещё держится.

Серебряный зуб вздохнул, развязал белую верёвку и развернул синий пакет прямо на стойке.

Внутри лежали листы.

Не деньги. Не драгоценности. Не ключ.

Листы.

Четыре сложенных утренних листа.

На одном край был надорван, и я увидел начало строки:

«Не подписывай ничего до...»

Я отступил на шаг.

— Это незаконно, — сказал я.

Серебряный зуб улыбнулся шире.

— Вот и познакомились.

Я посмотрел на Мирру.

— Ты сказала, пакет принадлежит тебе.

— Один лист — мой, — ответила она спокойно. — Почти.

— Что значит «почти»?

— Значит, вчерашняя я была дурой.

— А сегодняшняя?

— Сегодняшняя умнее. Но у неё меньше законных прав.

Я не хотел понимать. Правда не хотел.

Но тело уже понимало быстрее меня.

Утренние листы не охраняли. Их просто не трогали. Так было принято. Чужой лист — чужое утро. Чужая слабость. Чужой первый час, когда человек ещё не знает, кому верить.

Поэтому их нельзя было вскрывать, подменять, дописывать, даже если там была глупость, трусость или вред.

Особенно если там была правда.

— Вы хотите их подменить, — сказал я.

— Грубо, — сказала Мирра.

— Подправить, — сказал Серебряный зуб.

— Это еще хуже.

За столами кто-то засмеялся, но негромко. Старый пёс у двери положил морду на лапы.

— Вот! — Серебряный зуб поднял палец. — Люблю утренних. Такие чистые. Всё у них правильно, пока не понадобится жить в этом городе.

— Жить в городе не значит врать утренним душам.

— Конечно, нет. Это значит делать так, чтобы они не утонули в чужой глупости.

Я хотел сказать, что чужая глупость имеет право на собственный лист.

Но Мирра взяла один из свёртков и положила передо мной.

— Этот мой.

Я не притронулся.

— В листе было написано: «Не ходи к Северной пристани. Не верь Каспи. Не открывай старый счёт».

— Звучит разумно.

— Звучит трусливо. На Северной пристани сегодня будет человек, который вернёт мне имя на лавке. Если я не приду, лавку заберёт мой брат. Он каждый вечер пишет себе очень благородные листы о семейном долге. Утром смеется над ними и идёт забирать чужое.

— Тогда иди к хранителям.

— И сказать, что я хочу украсть собственный лист у самой себя?

Она говорила слишком быстро, слишком уверенно. Записка не соврала. Она действительно скажет правду, но не всю.

— А остальные? — спросил я.

Серебряный зуб подвинул ко мне другой свёрток.

— Этот — трактирщика с Верхнего рынка. Каждый вечер он велит себе не платить нам долг. Каждое утро читает, плачет от собственной честности и не платит. Мы хотим всего лишь напомнить ему, что долг — тоже разновидность памяти.

— Вы хотите заставить утреннего человека заплатить чужой долг.

— Не чужой. Его тела.

— Это не одно и то же.

— К обеду станет одним.

Мне стало неприятно, потому что он сказал именно то, что я уже начал чувствовать.

Я посмотрел на пакет.

Четыре листа. Четыре чужих утра. Четыре слабых часа, в которые кто-то поверит бумаге больше, чем себе.

— Я не буду участвовать, — сказал я.

Серебряный зуб кивнул.

— Конечно. Сначала поешь.

— Я не хочу есть.

Из кухни вышла Лио и поставила передо мной тарелку с маковым кренделем.

— Хочешь, — сказала она. — Просто ещё не решил, что это не взятка.

— Это взятка.

— Тогда не ешь.

Крендель был горячий. Мак блестел. От него шёл такой запах, что все мои принципы на миг сделались тонкими и прозрачными, как бумага против солнца.

Я сел.

— Я съем, — сказал я, — потому что голодный. Но это ничего не меняет.

— Обожаю это место, — сказал Серебряный зуб. — Всегда начинается одинаково.

После первого куска я всё ещё считал происходящее незаконным. После второго — незаконным, но не таким простым. После третьего — уже думал, что хранители, конечно, нужны, но иногда слишком любят ящики.

К полудню я знал, что Мирру зовут Мирра только по утрам, а к вечеру она предпочитает Мирайну, потому что «Мирра слишком честное имя для женщины с расходами». Серебряный зуб на самом деле не был серебряным, а «почти серебряным, но с характером». Лио ругала Каспи каждое утро и кормила его каждый день, потому что «иначе он начинает быть принципиальным, а принципиальный Каспи — бедствие для торговли».

К часу я всё ещё называл это подлогом.

К двум уже поправлял Серебряного зуба, когда он говорил «подлог» слишком громко.

— Не подлог, — сказал я. — Подлог — это когда меняют чужую волю. А мы уточняем обстоятельства.

Мирра улыбнулась:

— Ещё час — и станет полезен.

Листы лежали на столе между яблоками, кружками и хлебными крошками.

В листе Мирры было написано:

«Не ходи к Северной пристани.

Не верь Каспи.

Не открывай старый счёт».

Я перечитал три раза.

— Нельзя просто вычеркнуть строку, — сказал я.

— Почему?

— Потому что будет видно.

Серебряный зуб довольно усмехнулся.

— Вот это уже разговор.

Мы не вычеркнули.

Мы добавили.

Было:

«Не ходи к Северной пристани.

Не верь Каспи.

Не открывай старый счёт».

Стало:

«Не ходи к Северной пристани одна.

Не верь Каспи до конца.

Не открывай старый счёт без свидетеля».

Мирра прочла и улыбнулась.

— Почти честно.

— Лучше, чем честно, — сказал я. — Работает.

К трём я уже не спорил, можно ли трогать лист трактирщика с Верхнего рынка. Я спорил только о своей доле.

Он действительно был должен. Это выяснилось быстро.

— Десять, — сказал Серебряный зуб.

— Двадцать, — сказал я.

— Ты утром был честнее.

— Утром я был бесполезнее.

Мирра засмеялась.

Я взял лист трактирщика. Там было длинно и красиво написано о том, что долги, сделанные вчера под давлением, не связывают утреннюю душу без повторного согласия.

— Кто писал? — спросил я.

— Его племянник. Учится у хранителей.

— Сразу видно. Много совести, мало пользы.

Я подвинул к себе чернильницу.

— Не трогай первую строку, — сказала Мирра. — Утренние любят, когда начало знакомое.

— Я знаю.

И вдруг понял, что действительно знаю.

Нельзя ломать лист грубо. Грубому листу не верят. Надо оставить человеку его собственный голос, только чуть повернуть дверь, в которую этот голос войдёт.

Я добавил одну фразу в середину.

«Если до второго колокола придёт человек с серебряным зубом, выслушай его до конца: вчера ты не всё записал».

Серебряный зуб присвистнул.

— Красиво.

К четырём я перестал изображать, что мы кого-то спасаем.

Спасение плохо окупалось. Зато страх окупался отлично. Утреннее благородство — ещё лучше: оно быстро портилось, и потому брать его надо было сразу, пока свежее.

Мы разложили листы по порядку.

Миррин — к Северной пристани.

Трактирщика — Серебряному зубу.

Малый, с зелёным краем, — обратно под доску у печки: за ним вечером должен был прийти рыжий мальчишка, тот самый, который пытался вытащить у меня пакет. Оказалось, не пытался — проверял, крепко ли я держу.

Ещё один лист был совсем простой. Женщина с Большой Солёной улицы писала себе: «Не продавай кольцо. Оно не только твоё».

— Этот не трогаем, — сказала Мирра.

— Почему?

— Потому что кольцо её матери.

Я посмотрел на неё с удивлением.

— И что?

Мирра приподняла бровь.

— А утром ты был милее.

— Утром я был беднее.

Серебряный зуб расхохотался.

Кольцо мы всё-таки не тронули. Не из уважения, конечно. Просто Мирра сказала, что с семейными вещами прибыли мало, а слёз много.

К вечеру я сидел в «Косом якоре» у окна.

На столе передо мной лежал чистый лист. Солнце уже уходило за крыши, и трактир становился золотым: кружки, лица, пыль в воздухе, Мирайнина зелёная лента, почти серебряный зуб за стойкой. Лио принесла мне печёные яблоки и сказала:

— Только не пиши опять глупостей.

— Я пишу исключительно полезные вещи, — сказал я.

— Вот этого я и боюсь.

Я обмакнул перо.

Несколько мгновений смотрел на пустой лист. Завтра начнётся другая жизнь: люди прочтут исправленные листы, пойдут туда, куда нужно, и кто-нибудь обязательно попытается всё испортить честностью.

Я усмехнулся и вывел первую строку. Почерк получился быстрый, рваный. Не такой, как утром. Лучше.

«Не занудствуй. Это снова пройдёт к завтраку.

Синий пакет больше не ищи. Он своё сделал. Под третьей доской лежит малый лист с зелёным краем. Не трогай до завтрака: ранние руки слишком честные.

До первого колокола будь у Северной пристани. Мирра будет сердиться и делать вид, что всё испорчено. Не верь. Она сердится только когда получилось.

Если спросят про старый счёт, скажи: «Открыт при свидетеле». Потом молчи. Молчание утром выглядит честнее слов.

До второго колокола найди Серебряный зуб в «Косом якорю». Трактирщик с Верхнего рынка должен прийти сам. С него треть. Не половину: половина шумит. Треть идёт тихо. Из трети пятая часть наша. Скажи это уверенно, иначе Серебряный сделает вид, что не понял.

Малый лист с зелёным краем вечером отдашь рыжему. Не раньше. Если попытается украсть — пусть крадёт, но только после третьего колокола. До третьего это ещё наш лист.

К хранителям не ходи. Они хорошие люди, но день умирает у них в очереди.

Лёгкой перемены, честная душа».

Я перечитал и довольно хмыкнул.

Мирайна заглянула через плечо, пробежала глазами и улыбнулась на последней строке.

— А если завтра попадётся совсем чистая душа?

Я сложил лист аккуратно.

— Чистые души во мне долго не держатся.

Лио фыркнула из-за стойки:

— Вот это правда.

Я допил яблочный настой, потянулся и подумал, что день удался.

А если завтра кто-нибудь снова проснётся слишком благородным — ничего.

Руки объяснят.

Глаза важнее

Сегодня мне досталось хорошее тело.

Я поняла это ещё до зеркала. По простыням, которые скользнули по коже так мягко, будто просили прощения за любое другое бельё, бывшее до них. По волосам, тяжёлым и блестящим, упавшим на плечо. По руке — тонкой, светлой, с розовыми ногтями, — которая лежала поверх одеяла, будто нарочно, чтобы ей любоваться.

Хорошее тело знает, что оно хорошее.

Даже утром.

Даже в ясный час, когда душа ещё пытается вспомнить, кем была вчера, оно уже лежит правильно. Уже дышит правильно. Уже требует не жалости, а восхищения.

Я вспомнила своё вчерашнее смутно: холодный пол, грубую рубаху, потрескавшуюся кожу на пальцах. Кажется, я долго мыла что-то в тазу и думала, что горячая вода — это счастье. Какая чушь. Горячая вода — не счастье. Горячая вода просто должна быть.

На подушке лежал лист.

Почерк был тонкий, острый, нетерпеливый. Такой почерк не просит. Он распоряжается.

«Не ешь хлеб. Хлеб делает лицо простым.

Марту не благодари. Ей платят не за это.

Если утром проснёшься совестливой, не спорь с этим сразу. Подойди к зеркалу и подожди. Обычно проходит.

Синее платье не отдавать Ильне, даже если она скажет, что ты обещала. Я часто обещаю лишнее, когда устаю. Это не значит, что бедные родственницы имеют право на шёлк.

Мать будет говорить о скромности. Кивай. Скромность ей к лицу, мне — нет.

После завтрака прочесть светский выпуск. Если там снова об Аверне — вырезать заметку и спрятать в нижний ящик.

Лёгкой перемены, красавица.»

Я перечитала лист дважды.

Сначала мне показалось, что он самонадеян.

Потом — что он довольно точен.

Потом я села в постели, протянула руку к зеркалу на длинной ручке и увидела лицо.

И то, что минуту назад казалось самонадеянностью, стало просто знанием себя.

Лицо было красивое до неприличия. Не просто красивое — уверенное в своей красоте, как хороший дом уверен в фундаменте. Большие тёмные глаза, нежная кожа, губы чуть припухшие после сна. На щеке слабый след от подушки, и даже он выглядел не недостатком, а доказательством того, что подушки здесь мягкие.

Мне было шестнадцать. Может быть, чуть больше. Но тело уже знало цену взглядам. Оно не просто хотело, чтобы на него смотрели. Оно считало это естественным порядком.

Вошла Марта.

Она была старше меня лет на пять, но утром это не имело значения. На ней было серое платье, аккуратно застегнутое под шею, и лицо человека, который привык входить тихо.

— Доброе утро, госпожа Лиора. Лёгкой перемены.

Госпожа Лиора.

Имя легло на меня легко, как тёплая шаль.

— Умываться, — сказала я.

Я не собиралась говорить так резко. Кажется. Но Марта уже склонилась, собрала струящуюся шелковую одежду из шкафа и понесла в ванную. Ни обиды, ни удивления. Значит, всё было правильно.

Потом Марта расчёсывала мне волосы. Долго, осторожно, разделяя пряди пальцами. Я смотрела на нас в зеркало: я — в светлой рубашке, ещё сонная, но уже прекрасная; она — за моей спиной, сосредоточенная, с зажатой во рту шпилькой.

Мне вдруг пришло в голову сказать ей что-нибудь доброе.

Например: «Ты красиво заплетаешь».

И тут же стало смешно. Не зло даже — просто смешно. Такие фразы опасны. Скажешь один раз, и человек начнёт ждать второго. Потом третьего. Потом решит, что между вами есть что-то общее, кроме её рук и моих волос.

Марта слегка потянула прядь.

— Осторожнее, — сказала я.

— Простите, госпожа.

Вот. Так лучше.

На туалетном столике лежали ленты, флаконы с духами, тонкая золотая цепочка и маленькая расписанная пудреница. На крышке были нарисованы Айли и Ванрам.

Опять они.

Айли с глазами святой дурочки, Ванрам в плаще, который явно не стоил ничего. Они стояли под луной, держась за руки, и смотрели так, будто голод, холод, отсутствие дома и нормального имени были досадными мелочами на пути великой любви.

Она держала его руку слишком покорно. Художники всегда рисовали это как любовь. Мне почему-то показалось — как усталость.

Я открыла пудреницу.

Пудра была хорошая.

Ванрам — нет.

Я не понимала, что Айли в нём нашла. Все эти песни про семь ночей, про руки, которые не хотели расцепляться, про любовь сильнее Перемены...

Любовь без денег и положения — это не чудо.

Это бедность и глупость.

— Какое сегодня? — спросила Марта.

Я посмотрела на платя.

Синее висело отдельно. Тяжёлый шёлк, глубокий цвет, почти вечерний, хотя день только начинался. Его нельзя было отдавать Ильне. Теперь я понимала это не как распоряжение, а как очевидность. Некоторые вещи существуют для того, чтобы их носили правильно. Ильна носила бы его с благодарностью. Это всё испортило бы.

— Синее, — сказала я.

— Госпожа Ильна спрашивала...

— Госпожа Ильна может спросить ещё раз, когда у неё появится талия.

Марта опустила глаза.

Плечи у неё дрогнули.

Я не поняла, смеётся она или испугалась. В любом случае, это было приятно.

За завтраком мать говорила о скромности.

Она была ещё красива, но уже той красотой, которая требует поддержки: жемчуга, высокого воротника, правильного света, чужого молчания. Я слушала её и кивала. Лист был прав: скромность ей шла. Она придавала её лицу строгость, почти благородство.

Мне скромность была не нужна.

Мне нужен был свет.

На столе лежал свежий выпуск газеты. Я потянулась к нему раньше, чем служанка успела подать фрукты. Мать неодобрительно посмотрела, но ничего не сказала.

На второй странице было имя Аверна.

Я сразу увидела.

Господину Аверну вновь продлено право удержания по состоянию исключительной необходимости. Совет врачей подтвердил устойчивость режима. Благотворительный дом его имени открывает новое крыло для утренних сирот.

Я прочла заметку три раза.

Аверн.

Само имя было как дверь в высокий дом, куда пускают не всех.

Он был слишком стар, конечно, и уже некрасив. Это немного портило портреты, но не его величие. Старость можно простить человеку, который сумел заставить Перемену ждать у двери. Другие засыпали, просыпались кем попало, теряли лица, дома, имена, голоса. А он оставался. День за днём. В одном теле. В одной власти. В одном имени.

Вот это была настоящая победа.

Не песни.

Не Ванрам с его плащом.

Не Айли, которая, судя по всем картинкам, перепутала любовь с отсутствием выбора.

Аверн понял главное: если тело хорошее, если имя сильное, если дом стоит на твоей земле, надо не благодарить Перемену. Надо искать способ не отдавать.

— Лиора, — сказала мать, — ты слушаешь?

— Да, матушка.

— Я говорю, что юность надо уметь носить.

Я улыбнулась.

— Я стараюсь.

Мать посмотрела на меня внимательно. Кажется, ей не понравилось то, как я стараюсь.

После завтрака пришла Ильна.

Она была моя кузина или что-то близкое к этому: из тех родственниц, которых держат рядом не потому, что любят, а потому что выгнать совсем неприлично. У неё были светлые ресницы, нервные руки и лицо, которое всегда просило прощения заранее.

На шее у неё висел маленький деревянный круг на дешёвой цепочке. Я заметила его сразу и поморщилась. Кажется, эта дурочка ещё ходила к блаженным при Доме Первого Света — стирала их убогие тряпки, раздавала воду, слушала, как они кричат про ясный час и душу. Как будто не понимала, что от такой доброты портятся руки.

— Лиора, — сказала она. — Ты вчера говорила про синее платье.

— Говорила.

Она оживилась.

— Значит, я могу?..

— Нет.

Её рот чуть приоткрылся.

— Но ты сказала...

— Я многое говорю.

— Ты сказала, что оно мне пойдёт.

— Возможно. Но это не повод его портить.

Она покраснела. Некрасиво. Краснеть тоже надо уметь.

На миг мне стало почти жаль её.

Почти.

Потом я увидела нас обеих в большом зеркале у стены: она — бледная, неловкая, в платье, которое старались перешить слишком много раз; я — в синем шёлке, с тёмными волосами, с лицом, которому этот день принадлежал без объяснений.

И всё стало на свои места.

— Не сердись, — сказала я мягче. — Тебе лучше зелёное. Синий требует уверенности.

Это было почти добро.

Она почему-то заплакала.

Очень глупо.

После обеда я легла на кушетку у окна и приказала Марте читать мне вслух заметки об Аверне. Её голос был ровный, но на словах «устойчивость режима» она запнулась.

— Что? — спросила я.

— Ничего, госпожа.

— Ты осуждаешь?

— Нет, госпожа.

— Конечно, осуждаешь. У бедных всегда много мнений о том, как богатым следует отпускать своё. Вам-то нечего отпускать.

Марта молчала.

Я повернула голову к окну.

Сад был залит солнцем. На дорожке мальчик подметал лепестки, хотя ветер всё равно приносил новые. Бессмысленная работа. Но красиво, если смотреть сверху.

Мне вдруг стало страшно.

Не сильно. Не так, чтобы кричать или плакать. Просто под сердцем на миг открылась холодная пустота.

Завтра я могу проснуться кем угодно.

Старой. Толстой. Больной. Мужчиной с неприятным голосом. Женщиной с руками Марты. Девочкой, которой говорят «подай воду». Телом, на котором никто не задерживает взгляд.

Я закрыла глаза и сразу открыла.

Нет.

Не сегодня.

В нижнем ящике туалетного столика лежали прошлые вырезки об Аверне. Я нашла их легко, я сама много раз прятала туда эту тайную, стыдную надежду. Между вырезками был маленький конверт с визитной карточкой доктора Ренна.

«Капли бодрствования. Мягкое продление вечера. Безопасно при соблюдении меры».

Мера была скучным словом.

Я могла бы послать Марту прямо сейчас. Флакон прислали бы к ужину. В этом доме умели быстро доставать то, что другим полагалось ждать неделями.

Я почти сказала: «Позови Марту».

Потом посмотрела в зеркало.

Глаза у меня были хорошие. Тёмные, чистые, с тонкой влажной каймой. Третья капля, говорили, портит глаза. Иногда всего на ночь. Иногда на два дня. Потом оставляет круги под глазами, и тогда никакая пудра не помогает.

Остаться — прекрасно.

Остаться некрасивой — бессмысленно.

Аверну легко. У него были врачи, режим, разрешения, люди, которые следили за его пульсом, дыханием и дрожью век. Он мог заставить ночь стоять у двери и ждать. У меня была только визитная карточка доктора Ренна, нижний ящик и шестнадцать лет, которые никто не собирался оставлять мне навсегда.

После этого я решила не думать о каплях.

Вместо этого я стала тратить день.

Я велела снова принести синее платье, хотя уже переодевалась к обеду. Прошла через гостиную медленнее, чем нужно, чтобы Ильна успела поднять глаза. Попросила подать ягоды в хрустальной чаше, не потому что хотела есть, а потому что красное хорошо смотрелось рядом с моими руками. Вышла в сад и остановилась на верхней ступени, пока мальчик с метлой не заметил меня и не поклонился слишком поспешно.

Это было глупо.

И восхитительно.

День был как сладость, которую нельзя оставить на завтра. Чем медленнее я его ела, тем яснее становилось, что тарелку всё равно унесут.

К вечеру я устала.

Не так, как устают бедные, конечно. Не тяжело, не липко, не с болью в спине. Просто веки стали чуть медленнее, волосы тяжелее, а зеркало — мягче. Красота не исчезала. Она только начинала просить света получше.

— Лампы, — сказала я.

Марта зажгла две.

— Ещё.

Она зажгла третью.

Я подумала о докторе Ренне.

Потом о темных кругах под глазами.

— Довольно, — сказала я.

И это было почти мужество.

Перед сном Марта принесла лист.

— Писать будете, госпожа?

— Разумеется.

Я села за стол. Синее платье сняли, волосы распустили, на плечах был тонкий халат. В зеркале отражалась девушка, у которой даже усталость была украшением.

Я взяла перо.

Почерк вышел тонкий, острый, нетерпеливый. Почти как утром. Только увереннее.

«Не ешь хлеб. Утром тебе снова покажется, что один кусок ничего не изменит. Изменит.

Марту не благодари. Она от этого начинает медленнее двигаться.

Если проснёшься доброй, не пугайся. Это ясный час. Он у всех бывает немного простоватым. Подойди к зеркалу и подожди.

Синее платье не отдавать Ильне. Она будет плакать. Пусть. Слезы стоят дешевле шёлка.

Мать слушать, но следить лицом. Она замечает.

Вырезку об Аверне спрятать глубже.

О каплях Ренна не спрашивать при матери. Если достанешь — не больше двух. Лишний час прекрасен, но глаза важнее.

Лёгкой перемены, красавица».

Я перечитала.

Последняя строка понравилась мне особенно.

Потом я сложила лист и положила на подушку.

На мгновение мне показалось, что где-то глубоко внутри кто-то смотрит на всё это молча. Не спорит. Не плачет. Просто смотрит.

Я отвернулась к зеркалу.

Зеркало было гораздо убедительнее.

После третьего колокола

Утром я проснулся в форме. Это было хуже, чем проснуться больным. Больной хотя бы имеет право не понимать, чего от него хотят. А от формы сразу чего-то ждут. На стуле висел тёмный жилет Хранителя. Под ним — пояс с ключами, тяжёлый, как чужая совесть. На табурете стояла кружка воды, а рядом лежал лист, написанный мелким злым почерком:

«Сначала вода. Потом имя. Потом лист. Не спорь с очередью. Очередь всегда права в том, что ей страшно. Спорные — после третьего колокола. Мужчину с козой не выпускать одного».

Последняя строка мне не понравилась.

Во-первых, я ещё не знал, причем здесь коза.

Во-вторых, уже подозревал, что узнаю.

Форма оказалась тяжёлой.

Не сама ткань — ткань была обычная, тёмная, грубоватая на вороте, с затёртыми местами у локтей. Тяжёлым было то, как она садилась на плечи. Стоило застегнуть жилет, и спина сама выпрямилась. Стоило взять пояс с ключами, и рука сразу проверила, все ли на месте: большой от входной решётки, короткий от шкафа спорных листов, тонкий — от комнаты тишины, где сажали тех, кто начинал кричать не от злости, а от страха.

Я не хотел знать, какой ключ от чего.

Но пальцы уже знали.

За дверью шумела очередь. Не просто говорила — дышала, скреблась, переступала с ноги на ногу. Там были кашель, детский плач, чьё-то раздражённое «я здесь раньше был», шёпот, смех и тонкое, почти певучее:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.